

СОЛДАТСКИЙ ХЛЕБ

За щедрым поминальным столом люди вспоминали умершего. С большим почтением и уважением говорили о нём знакомые, соседи и сослуживцы. Иван Михайлович действительно заслужил эпитет «Почтеннейший», которым его называли за столом. И говорили, что хоть и вдовец, но старость его была счастливой, жил в семье дочери среди родных людей в тепле, уюте, накормлен, чисто одетый, без нужды и забот – что еще надо под старость лет? Всё это так. Да, он не был запрятан в угол за печь с глаз долой, куда подают время от времени еду, если ещё подают. Однако старого офицера, ветерана войны не удовлетворяли тёплая комната в четырёхкомнатной квартире дочери, полная свобода перемещения, куда хочешь – туда иди, чем хочешь – тем и занимайся, полное пенсионное обеспечение со льготами, собственный телевизор, шкаф с книгами. Что ещё нужно старому человеку? Но Ивана Михайловича не успокаивали материальные блага и уют, последние годы он изнывал от одиночества. Будучи не из тех, кто проводил время в кругу друзей с удочкой на озере, расположенное, кстати, в двух шагах от дома, кто днями играл в домино на дворовой площадке, или распивал у магазина с друзьями спиртное, балагурия и хохоча. Не участвуя в компаниях и попойках, он терпеть не мог оставаться один.

Жаловался сыну при встрече:

– Вот ты, Миша, далеко, в Калининграде. А мои... (дочь Мила с зятем) придут домой после работы, говорят только друг с другом, а я вроде бы тут, а вроде бы меня нет. Не спросят, как ты, отец, целый день один? Как чувствуешь себя? Сам иду напомнить, мол, сердце болит. Нет, они, конечно, корвалолу накапают, поохают, и опять я остаюсь в своей комнате, один одинёшенек. Человеку нужна пара, без пары, без женщины плохо, поговорить и то не с кем. Про себя добавил, мысленно, не вслух: – «Плохо мне, вроде бы не брошен, но забыт, никто во мне не нуждается, никому я не нужен. То ли жив, а то ли уже нет». – Ближе подступят на синие глаза старика слёзы, станет жалко себя, берёт обида на старость. Опять же память не даёт покоя, видится прошлое – будто вчера случилось, а кто с ним разделит воспоминания, кто его выслушает? – «Мне, сынок, потребны не только еда, да тепло, мне больше поговорить хочется. Много читаю, много знаю, а для чего? Мысли со мной и всё-то об стенку, видится мне моя ушедшая жизнь, да и не вся-то жизнь – так, эпизоды. Киномехаником стал, кручу кино о себе для одного себя, и задаю вопрос: «Кто я? Кто я?» Вы вот с Милой думаете, что по всей жизни не любил я мать. Думаешь, ты так? – на вопрос отца утвердительно кивнул головой Михаил, – так отчего же я уже четыре года по матери вашей, по Марье моей, утешиться не могу? Будто отодрали вместе с ней мою жизнь и закопали в землю. Хожу, хожу к ней на могилу, каюсь, каюсь, а не вернёшь, всё наше с ней ушло. А ведь было только наше и только с ней... Что такое любовь разбери на этом свете? Была ли она между нами? Деревенские оба, я в парнях и она в девушках, Иван да Марья, виртуозный гармонист и на три деревни вперёд певунья, высокая, статная из хорошего, смиренного дома. Когда к ним в дом пришёл, то уходить не захотелось до чего кругом чисто да ладно. А в своём вечно обиженная мать и злой в кураже отец, мало добра там я видел, вечно между собой сёстры грызлись, и захотелось от всего этого сбежать. Марья была по сердцу – первая хохотушка с лёгким нравом, умела развеять мои невесёлые заботы, не давала хмурить брови и огорчаться из-за родителей. Скоро я женился и перешёл жить к Марье. Хорошо всё у нас было, радовал меня добре устроенный в их доме лад. Отец Марьи во главе семьи, с виду крупный, почти богатырь против остального народа, а сам богобоязненный и добрый, и все Марьины сёстры и братья тоже доброты

немеряной, меня как родного приняли. Останься я навсегда в деревне так бы прожил с Марьей довольным и счастливым весь свой век. Мы с ней тогда такими и были. Однако мы – себе, а оно себе....

В тот же год призвали меня в Красную Армию, пришла повестка, собрался быстро, по-другому и быть не могло, с военкоматом не поспоришь. Очень ясно вижу проводы и Марью уже с животом всю-то в слезах, жмётся, жмётся – не оторвать. Уходить от неё не хотелось, но в призыв – разговор короткий: «Марш, Пухов, в строй!» Думал под команду попасть на три года, а оказалось на всю жизнь. Расстался я с Марьей, вашей матерью, не по своей воле, без меня и Мила родилась, которую я не видел и по-хорошему не знал. Отслужил я полные три года, в сержантских погонах собрался домой, наваксил сапоги до зеркального блеска и тут на тебе! Перед моей демобилизацией грянула война. Я и дня вольным не был, снова встал в строй уже обученным воякой – потом много раз меня спасала моя прежняя армейская служба. Война сфабриковала мой дальнейший путь, круто изменила судьбу, определила меня человеком служивым – солдатом в пехоте, хоть и в звании сержанта. Разлука с Марьей затянулась на целых семь лет. Вот и вся любовь.

Мало о войне отец рассказывал Михаилу, а если рассказывал уже под старость, то мало что понимали из его рассказов дети. Хотя кое-что все же усвоили из его слов: «Правду о войне показали только в фильме «Живые и мёртвые», а в остальных маскарад. Я ведь тоже под Москвой воевал, также страшно выбирался из окружения».

Днями оставался в одиночестве Иван Михайлович, ну в магазин сходит за молоком, кефиром, хлебом; вынесет мусор, немного по-соседски поговорит со встречными знакомыми, телевизором пощёлкает, и затем снова пребывает один в глубоком молчании. На помощь приходила память. В этот раз она возвращала мысли и образы в Подмосковные места к тем октябрьским морозным дням сорок первого года, и бросалось в глаза, что на солдатах ни одежды толковой, ни оружия, чтобы немца побеждать. Октябрь в Подмосковье наступил с холодами, ночами минус, от мороза и днём земля не оттаивала.

Память фигурально показывала, как пробирались из окружения к Москве, шли мало уцелевшим батальоном по краю леса голодные и упорные. Заметили на холме оснеженную инеем колокольню, белостенную под синим куполом, остановились, смотрят – не насмотрятся. Душой воспарили! Очертания глубинных истоков задели каждого, бело-голубая вертикаль – будто натянутая вещая струна до лазоревой выси, светлая музыка в камне – проникала, забирая исконно-русской красотой. Птица лебедь, а не колокольня. Гуртом подумали об отдыхе: «Хорошо бы!» Только высунулись взглянуть – что и как, тут же немец сверху лупанул шрапнелью, только ветки с берёзового молодняка посрезало. Попадали рыжим осенним всполохом.

Скрылся в лес отряд красноармейцев, по-умному надо бы мимо пройти, дескать, пусть фашисты на ветру себе сидят и конечности морозят. Но не тут-то было! Взыграло у командира ретивое, то ли он захотел отличиться, то ли за державу злость взяла, то ли, правда, приказ поступил – взять эту колокольню! А может иная причина? Ярость задать немцам перцу, желание столь жгучее, что не до рассуждений о риске жизнью, о ничтожных боеприпасах, о проигрышной для них позиции. Бездумное, спонтанное решение. Иван Михайлович до сих пор не знает причин, побудивших командира наступать небоеспособной частью на ту белую под голубым шатром колокольню. Командир приказал всем подготовиться к бою и выбить оттуда нахрапом фашистов, а для порядка объявил: «Надлежит исполнить высшего командования приказ», – а от кого он мог поступить не ясно, связь со своими давно утеряна. Однако солдат Иван обучен – приказы командира не

обсуждать, остальные тоже беспрекословно подчинились, им передался азартный дух командира, на себя поглядели – ухмыльнулись, а чем чёрт не шутит, тоже батяней, а не чем попадя, сделанные, пощекочем немцам селезёнку, дадим прогадаться! Такие раздавались выкрики, а то и похлеще в поддержку идти и освободить нашу звонницу от фашистов! Иван Михайлович теперешним умом рассудил, оглядываясь далеко назад, а может, командир захотел наш боевой дух тогда поддержать, который при длительном отступлении донельзя оскудел, развеять действием пагубное уныние, посчитал – нужна в атаке борьба, злость, на вкус кровь, чтоб на войне как на войне – трудный и опасный путь.

Только не вышло в лоб и нахрапом, злая потеха пошла у немцев. Фашист с колокольни пристрелялся, ребят, которые по приказу командира кинулись в лобовую атаку, из пулемёта покосил, они и на горку забраться не успели, остались лежать убитыми. У врага отличное обозрение с колокольни – всё и все на виду. Если кто голову не то что высывывал, лишь поднимал, немец поливал нещадно свинцом, верно насмехаясь над русскими голодранцами. Но приказ командира есть приказ. Не один десяток солдат положил у той колокольни их командир, трижды поднимал в атаку солдат, и всё зря – колокольня оставалась неприступной. Сегодня понимает старый воин, что командир – служака бестолковый, а ведь уже немолодой в звании капитана, ужас сколько людей погубил и себе чести не нажил. Отползи в сторону, обойди ту колокольню с другой стороны, подумай хорошенько, оцени обстановку и по темноте берись за дело, хватило бы небольшого штурмового отряда, а этот упрямец не мог чей-то приказ нарушить, а голова-то на что? Фуражку капитанскую со звездой носить? Память воскрешает как в зеркале:

Раздалась команда: «Пухов, марш вперёд!» – это дошла очередь до Ивана, – «А гранаты?» – «Кончились. У фашиста отбей!» – Делать нечего, Иван прошептал Марьи отца присказку: «Богородица, помилуй!» да и пополз ужом вверх на погибель. За чужими спинами не прятался, и его тоже скоро подстрелили, но повезло – не убили.

Очнулся солдат Иван в машине с такими же ранеными бойцами, понял – их транспортировали в Москву, повертел головой туда-сюда и обнаружил перевязку от плеча через шею на руку, глянул – а водителя в машине нет, санитаров, военных – никого! Бросили! Беспомощных бросили! Мороз после Покрова по ночам крепчал, и днём не убывал, несмотря на то, что октябрь месяц ещё осенний, снег уже побелил землю. В сорок первом зима в календарь не заглядывала, подступала рано и всерьёз. Осмотрелся солдат – раненые в кузове полузамерзшие, сам кожей чувствовал – околел, скулы свело, губа к губе примёрзла. Кое-как выполз из машины и поразился увиденному: колонны из грузовых и легковых машин, военной техники стояли безлюдные и замёрзшие за рядом ряд, и конца этой колонне Ивану не видно. Всё Волоколамское шоссе запружено брошенной техникой и обозами, обомлел солдат – немцу Москву взять голыми руками, как на спичку поплевать, ничего не стоит, бери – не хочу. Защитников в обозримой дали, хоть в телескоп ищи, не видно, в тишине и не слышно. Один на рубеже стоит раненый воин Иван, и тот на данный момент не защитник. По-страшному захотелось курить, но желание из разряда заоблачного оставалось несбыточным и лишь добавляло мучительное состояние к холоду и голоду. Иван пошёл вдоль машин по направлению к Москве, мороз его не щадил – руки, ноги сделались нечувствительными, остальные части тоже плохие помощники, замёрзли и заколенили. Иван, мужик хоть и молодой да деревенский, понимал, в летних сапогах ноги откажут – тогда точно конец. Искал в брошенных обозах – нет ли там папироски закурить, согласен и на горсточку махорки, а больше искал – чем бы согреться? И нашёл, выпал ему просто счастливый билет, среди колонны машин намертво врос обоз с валенками. Без

эмоций, основательно выбирал он себе серой шерсти пару, переобулся, и сразу стало теплее телу и душе, мелькнула надежда выжить. Старые сапоги связал и через плечо повесил, знал – казённое имущество отчёта требует, за пропажу наказать могут. Там же в обозе обнаружил и свёрнутое знамя, алое, расшитое золотым серпом и молотом. Иван не первый день в армии, знал цену находки и, подняв телогрейку, обмотал себя красным полотнищем по животу и выше груди, лишь затем двинулся вперёд дальше к Москве, к людям. Шёл, слабея из-за воспалённой раны плеча, да и крови до этого много потерял, но всё равно шёл вперёд, шатаясь из стороны в сторону, с упорством шёл, шёл и шёл... И вдруг до слуха донёсся голос: «Пухов! Иван! Пухов!» – подумал: – брежу, – ан нет снова услышал: «Иван! Пухов!» – взгляделся в опушку, а из лесу ему взводный пилоткой машет. Иван, не веря глазам, спотыкаясь, кинулся рысью к нему! То со взводным из окружения к Москве пробивался оставшийся после атаки на колокольню отряд, чудо да и только, обрадованный он пошёл с ними. Станным показалось – как в таком заброшенном месте его узнали, по имени позвали, попросту спасли?

На валенки весь отряд залюбовался – зима ранняя, а одежонка лёгкая, сапоги худые, из окружения давно без замены, а тут не только от санитаров телогрейка, но валенки! Нашёлся в отряде архаровец, который позавидовал чёрной завистью серым катанкам Ивана. Иван Михайлович зла на него тогда не держал и теперь не держит, понимал – холод достал отступающего солдата до печёнок. Из-за валенок этих Иван чуть не заплатил жизнью. Отошёл на минутку в сторонку по нужде и заодно за валежником для костра, наклонился за ветками, а там боровичок стоит, грибным сладким духом манит, Иван руку протянул за грибом и тут же кто-то в затылок негромко произнёс: «Снимай, Пухов, катанки, не снимешь – убью! Ты всё одно раненый, скоро помрёшь, а я здоровый, нужнее родине, чем ты, мне жить надоть».

Столько лет прошло, а голос в ушах у Ивана Михайловича звучит до сих пор, ни с каким другим не спутает. Помнит – как похолодел на морозе, день назад сердце билось – спасён, и вот опять смерть в ухо дышит, но кто угрожает, угадать не мог. Из холода в жар кинуло, решил объясниться с человеком: «Отступись, друг. Не дело ты затеял. Убьёшь, валенки заберёшь, а дальше что? По ним тебя найдут и накажут по всей строгости военного времени», – «молчи, снимай катанки и быстрее, мне не до антимолий», – в затылок заговором щёлк, щёлк. – «Стой, друг! Забирай валенки, они ни жизни, ни совести не стоят», – хотел повернуться к нему Иван, но железо упёрлось в шею, чужой человек не шутил. Ещё бы немного и неизвестно чем бы вся эта история закончилась, если бы не взводный. Неожиданно голос взводного завопил в крик: «Стой, мерзавец! Стой! Не балуй!» – и опять Ивана в недобрый час спас. Выяснили – тот рыжий молодец себе пальцы на ногах почти отморозил, сапоги его прохудились – вот и решился на преступление. Предложил Иван всем отрядом пройти к обозу за тёплой обувью, бойцы были только «за!» Память у Ивана на местности с детства цепкая, до сих пор в чужом лесу, как в своём, не заблудится, поэтому нашёл он среди колонны тот обоз и все на радости, переобувшись, благодарили Ивана, а солдатское старье сложили в обоз для отчёта. Тут же один товарищ – любитель читать, обнаружил ящик со штабными документами, после чего их бросить уже не позволил взводный, а вдруг они секретные, а вдруг в них государственная тайна? Понимали, что тащить их с собой лишняя морока. Без паузы и сомнения взводный приказал – взять и нести документы до первой встречи с кадровыми офицерами, необходимо сдать их честь по чести, не долго думая, назначил Ивана ответственным за целостность и сохранность важного ящика.

Иван Михайлович помнил, как намыкался он с этими документами, мало того, что тяжесть лишняя, так вдобавок потом после встречи с начальством их брать никто не хотел, ни первый встречный офицер, ни следующий – бежали от ящика с документами, как чёрт от ладана. – «Покарауль ещё ты эти документы, Ваня!» – «Всё! Зарою, закопаю, выброшу!», – «А вдруг от них чья-то жизнь зависит? Придётся нести их, Ваня!» – В итоге договорились – взводный разрешил, а Иван сунул этот ящик в проезжавшую машину, пока водитель в сторонке перекуривал, тем и не дал пропасть государственным секретам, и себе заодно. За знамя, которое Иван донёс и передал штабному офицеру, тот обещал большущую награду – звание героя Советского Союза, представление написал, направил, и дальше этого дело видно не пошло.

Иван всю дорогу терпел горячую боль в руке пока силы окончательно не стали покидать его, накатывала слабость холодным потом и ноги, будто ватные, подкашивались, но солдат терпел эти приступы, сознавая, война идёт, не годится раскисать, он – боец Красной Армии, а, значит, должен... да и деваться-то в принципе некуда, кроме как терпеть. И всё же, когда их расформировывали по частям, прямо на построении он рухнул на мёрзлую землю, хорошо ещё, что упал со стоящим рядом взводным. Тот и отправил его в Москву в госпиталь. Больше они не встречались, но тёплые чувства к боевому товарищу остались у Ивана Михайловича на всю жизнь. Шепчет старый воин: «Где ты? Жив ли, мой хороший друг?» – Затерялось где-то по штабной лестнице представление на героя, или затерялся солдат Иван на фронтах войны, не нашла его награда, а жаль, – вздыхал Иван Михайлович.

Иван Михайлович по обыкновению, оставив «жигуль» у кладбищенской ограды, дошёл к могиле жены с памятником из красного гранита, на котором с портрета внимательно смотрела покойница Марья, безмолвная слушательница его жалоб и невольная утешительница.

– Что ж ты со мной сделала, жена моя, оставила одного тоской умываться. Как перст один, качаюсь ковылём-бобылём в поле, головы не к кому преклонить. Разве знал я – таких, как ты, моя голуба, теряют с болью в сердце. Жили, жили, любили не любили, а срослись будто два дерева от одного корня, крона в крону. Бог на небе нам с тобой союз наш за любовь зачтёт, обязательно зачтёт. Помнишь – как ты ко мне в Москву в госпиталь приехала? Всего на два часа, а путь проделала великий. Вроде Москва от наших мест рукой подать, только вот до станции из деревни дольше дня добираться. Транспорта, кроме лошадного, никакого, приходилось вам деревенским всё больше пешком через сугробы пробираться. Видишь ли ты меня, Марьюшка? Помнишь ли ты? А я вот помню... Пока живой – жива и моя память. С ней кукую старость, а других дел уже и близко нету. Тогда в Москве меня в госпитале на белые простыни положили, откормили, подлатали, подлечили, готовили снова для фронта. Руку спасали, без наркоза чистили – сто грамм спирта делили между раной и мной, и скальпелем скребли, чтоб без заражения крови обошлось. Я от нестерпимой боли совсем расклеился, а тут ты явилась. Худющая, только глаза да зубы на лице, под душегрейкой, под серым пиджачком из бостона, было видно с чужого плеча, у тебя одни мощи, – я удивился: «Как же так, отчего?» – «На фабрике в Переславле работаю, – отвечала ты, – а дочка в деревне, вот я пешком десять километров туда, на рассвете десять обратно. А опоздать на фабрику нельзя, никак нельзя, Ванюшечка! Поесть бывает некогда, да особо и нечего». Помню, как надо мной причитала, а я стыдился твоей нежности, суровым был. А с чего? Отвык, совсем от тебя отвык. Твоя любовь, Марья, как на ла-

дони открытая от первого до последнего дня, а моя только сейчас выпросталась и залила меня тоской. Помнишь, как нам в госпитале на два часа комнатку дали, и мы пробыли вместе без толку – слаб я оказался, зато ты на всякую чепуху смехом заливалась, хоть пальчик тебе покажи! Ты со мной, а я так и не повеселел. Ты про гармонь спросила, а я отмахнулся сглупа: «Зачем мне на войне гармонь?» – А ты всё смешком и смешком, мол, чтоб играл да не забывал. А я на ту пору уже вас забыл, и тебя мою певунью сторонился. Хорошо, что не вышла у нас близость, а то бы ты ещё одну в войну люльку качала. Знаю, знаю, тебя дети не пугали, ты бы и этому ребящёнку радоваться стала. Что там тебе десять километров туда и обратно по морозу пробежаться ради дочери? Фотографии её мне показывала, а я будто сам с тракта – замороженный, душой не отогретый, только удивлялся маленькой девочке на табурете. Прости ты меня, жена моя, ради Бога!

– Так, значит, встреча в войну с мамой была? – спросил отца Михаил, когда услышал о ней. – Была и в момент забылась, как сон отлетела. Осталась со мной только фотография маленькой Милы, всю войну со мной прошла, хранил её, достану, подивлюсь – вроде есть где-то жена и дочь, а вроде бы и нет... за службой я семью не вспоминал, не до того было. Время – как сорняком поле – чувства заглушило, а с ним память и нежные слова. Пойми её на две стороны любовь эту...

До смерти бывший кадровый военный Иван Михайлович, уважаемый с достоинством человек ходил с орденскими планками на пиджаке, с ними автобусах, в советских очередях стоять ему не положено было. Крепко обижала старого солдата дерзость молодых особенно в магазинах, кассах вокзала, поликлиниках и на улицах, когда подходил за положенной внеочередной услугой, выступали против него частенько молодчики с руганью и выкриками. Не объяснить им, что свою молодость, здоровье, лучшие годы он в снегах, окопах, в атаках прожил, что потом военные раны залечивал, много что пришлось вытерпеть, чтобы им хорошо жилось, чтобы в мире и сытости на веки, чтобы как сыр в масле катались. К праздникам, как офицеру в отставке, ветерану войны давался дополнительный паёк с деликатесами, а там для его язвенной болезни необходимое оливковое масло, которого в продаже днём с огнём не найти. Это маслице по ложечке, как лекарство принимал, как драгоценный эликсир, выданный за заслуги перед Отечеством. Опять же ветерану благодарность и уважение. Зря дерзят молодые, он и на войне будучи солдатом, когда считался низшим военным звеном – сапогами, пехотой, не лишён был всеобщего уважения.

В сорок первом то ли знамя ему в заслугу посчитали, то ли по другой причине – за иные подвиги оказали сержанту Пухову великое доверие. Прежде чем из госпиталя отправить на фронт с ним долго беседовал человек из органов, не пугал, а только выпытывал, как на экзамене – что де за человек, Иван Пухов, что за мысли бродят в его голове, что за настроение? Иван простой двадцати трёхлетний парень ещё никем не пуганный, бесхитростный и незлобивый с открытым взглядом синих глаз всё честно о себе рассказывал и про осеннее отступление, и про ранение, и про знамя, и про приезд жены. К тому же гармонист, на больничной гармонии руку разрабатывал, пальцы по ладам пускал и больных успокаивал, тешил музыкой. Так и сказал любопытному человеку: «Поём нашу любимую про Щорса. Голова обвязана, кровь на рукаве, след кровавый стелется по сырой траве», – добавил, – все мы тут такие». – «Герои, значит?» – «Ну, да, герои!» Скоро его прямо из госпиталя направили в ту часть, которую готовили для парада на Красной площади седьмого ноября одна тысяча сорок первого года в честь двадцать четвёртой годовщины революции. Это теперь тот парад стал историческим событием века, главной вехой «Битвы

под Москвой», а тогда никто об его важности не думал. Иван тоже не думал, шёл в строю по Красной площади одетый в зимнюю тёплую амуницию с оружием без единого патрона, таков был приказ в целях безопасности государственных вождей боевых патронов никому не иметь. Зато душу распирало сверх меры желание стать спасителем Родины, Москвы и Сталина, речь которого неслась по всей Красной площади. Это Иван Михайлович теперь много знает о злодействах и преступлениях вождя с его соратниками, а тогда солдату Ивану думалось – те слова приходили лишь к нему одному, к его сердцу, к его чувствам, к воинской доблести. Голову задирал Иван в белой шапке ушанке с новенькой звездой, чтобы разглядеть трибуну и высшие чины на ней, но снег лепился на лицо, и, а потому хоть и шею тянул, хоть и в первом ряду шёл, но мало что разглядел. В восемь утра в Москве ещё не просветлело. Висели низкие снежные тучи, к тому же слишком быстро проходили мимо – оттого перед глазами трибуна мавзолея с тёмными силуэтами на ней промелькнула, как на ЗИЛе проехала. Росло страстное желание – врезать фашистам так, чтобы юшкой кровавой умылись и навсегда запомнили каково до нашей земли рыпаться. Явившийся богатырский дух утверждался в нём – себя не жалко, жизни, той самой одной единственной не жалко, готов биться с врагом на смерть! Всё это умещалось и проносилось в его уме, а ярости, той безысходной ярости к врагу, чтоб из сердца полыхнула ненависть, не возникало. Солдат Иван с парада без задержки попал на фронт и в бой, остался жив, и снова в бой, а в том бою рядом уже другие воины бьются, прежние без счёта погибали – имён Ивану Михайловичу не вспомнить, так их было много.

– Пехота мы, что поделаешь, – говорил он, замечая, как внимательно его слушают Михаил с невесткой Мартой. – Я, дети, в войну чудом оставался жив. Три довоенных года в армии сделали из меня профессионального бойца, а новички сразу на пулю или на штык нарывались. Пехота всю Россию матушку до Европы ногами, пузом перепыхала, да кровью своей перехаркала, одних окопов нарыли лопаткой да руками столько, что бульдозерам нынче не по силам будет. Иной раз думаю – как это мы смогли такое немислимое дело вынести, где сила бралась? И ведь совсем не простужались, не болели и всё тут. Как я живым остался и сейчас не очень понимаю. Ведь всю войну на передовой, потом из пехоты в разведку попал, риска ещё больше, и там люди гибли нещадно, самое страшное к немцу угодить, уж лучше себя гранатой сразу на куски. Мы – разведчики ежечасно под персональным прицелом у своих и чужих. НКВД, СМЕРШ, другие защитники мать их так, не доверяли и не ценили людей, в первую очередь подозревая всех – кто на ту сторону фронта уходил, а там немец нас выискивал, как на зверей охотился. Однако на войне важнее разведки разве что генералы. – После паузы, папироской подымив, добавил: «Зато команда реже менялась, появились друзья надёжнее надёжных, товарищи, ставшие роднее братьев. Недаром дают оценку человеку – годен или не годен для разведки, пойдёшь с ним или откажешься. От друга в лесах и сугробах жизнь зависела, предаст – не предаст, бросит – не бросит в беде. Так вот в разведке шкурников не встречал, не раз один другого на своём горбу от смерти спасали, и меня тащили, и я вытаскивал, пупок рвётся, а несёшь. Теперь только имена в памяти остались, хоть по алфавиту записывай.

После отъезда сына Иван Михайлович снова в одиночестве меряет шагами углы у себя в комнатке. Старые фотографии разбирает и клеит в альбом, на себя послевоенного любуется: в золотых погонах, с золотой кокардой, китель в орденах и медалях в окружении таких же блестящих офицеров. Орденоносцы! Два ордена Красной звезды, ордена за защиту Отечества, жаль – героя так и не дали, зато закончил войну майором. Ух ты, какой красавец был! Женщины любили, вниманием баловали, разве можно без них, что же это за

жизнь без женщин? Кто кроме них отогреет, обласкает, от их жара, как в бане, весь-то разомлеешь, от их поцелуев, как от хмеля – развезёт, на седьмом небе в момент окажешься. Верёвки начнут вить и не жалко. В госпитале в Москве сестричка Зоя синеглазиком звала, кудрявую мою голову на свою подушку сама уложила, плакала на проводах, просила письма писать. Какое там писать, в строю уже о ней не думал, жене и той бросил о себе сообщать, на будущее надежды не было. Так-то. А теперь худ и сед. Жизнь прошла, уж покрутила меня, а всё ж до маститых годов довела. Везение бывало просто уму непостижимое, будто кто свыше оберегал, ведь по дорогам войны со смертушкой в обнимку шли, с ней ели, спали, никто от неё не зарекался, а она кого вмиг сразит, а от кого вроде меня до поры отступалась. Теперь кажется невероятно, и тогда на меня ходить смотрели, называли «заговорённый». Зима, на улице лютый мороз вот и грелись солдаты у костерка в сугробном блиндаже, человек шесть укрылись. Я в полушубке прислонился спиной к снеговой стенке, вроде задремал, а тут налёт. Слышно наверху бомбы рвутся, потом над нами гул пошёл со свистом и ба-бах, поняли – похоже, бомба в нас попала, а взрыва нет. Только слышу – за спиной что-то шипит, отстранился от стенки, глядь, а бомба застряла в сугробе, только конец, как глаз на меня смотрит, злобно так угрожает, два сантиметра до меня не достала. Всех солдат ветром из сугроба сдуло, я тоже вышел. Шутить ребята начали, дескать, Ваня, мы с тобой теперь будем рядом, ты от смерти заговорённый. Правда ли, неправда ли, но что-то на самом деле для каждого воина есть. Вот и фото из Ярославля – стою, руки по швам, погоны новенькие – самый что ни на есть младший лейтенант. Тоже ведь уникальный случай, судьбоносный.

...Пошёл второй год войны, жаркое лето одна тысяча девятьсот сорок второго года. Перед Ржевско-Сычёмской баталией, армия «Западного фронта» готовилась к наступлению на немецкую армию «Центр», всё также нацеленную на Москву. Командование долго готовило наступление, все от генералов до солдата ждали приказа о начале боевых действий. Иван тоже ждал начала боя под Сычёмкой, готовился к худшему – выложил чистую нательную рубашку, не спеша надел, автомат разобрал, почистил и собрал заново, письма написал матери, хотел было Марье, но раздумал. Правду ей сказать нельзя, а обманывать перед сражением не хотелось – в походе другая женщина дарила ему нетребовательную любовь, светловолосая связистка Танюша, а потому написал лишь старшей сестре. Взялся сделать самокрутку, медленно пальцами разгладил края обрывка газеты, посыпал щепотью из кисета табак, сворачивая, стал сосредоточенным и спокойным, прощался не на словах – нутром, без слёз и голоса. Только вышел из блиндажа и затянулся до кашля, крепка махорка, да папироска не для этого случая. Вдруг услышал – зовут по цепи: «Пухов! Иван Пухов! Срочный вызов в штаб с вещами!» – странной показалась Ивану команда, чтоб с передовой вызвали в штаб – дело небывалое, возможно опять в разведку придётся идти. Но дело вышло совсем уж удивительное, если не сказать – невероятное. Вручили Ивану предписание – немедленно отправиться в тыл в город Ярославль на курсы младшего командирского состава, на лейтенантские курсы. Опешил Иван, так неожиданно для него повернулись события. А когда через два месяца вернулся в часть, узнал, что отправили его накануне тяжёлого затяжного сражения, с августа по октябрь бились за города Ржев, Вязьму, за Сычёмку, ноги вымыли в крови своей и чужой, но немцы не уступили. Немецкая машина была ещё сильна, пришлось генералам наступление остановить. Живых Иван в полку никого не встретил, одни убиты, а кому повезло, то те отправлены по госпиталям, искалеченные и раненые. Вышло, что чуть ли не он один остался цел и невредим. Своих друзей разведчиков всех в списках погибших нашёл, связистка Танюша тоже по-

гибла. Толком и не попрощался с ней. Позже научился не оплакивать потери, а тогда сильно горевал, аж выворачивало всего, есть не мог. Полковая гармонь выручала, на ней свою печаль изливал наружу, особенно подолгу играл вальс «В лесу прифронтовом». Военный вальс – осенний сон, как раз совпал с грустной октябрьской порой. Получилось – смерть в который раз помаячила перед глазами и, не увидев страха у солдата, а только готовность биться с врагом, не приняла его окончательной жертвы. Что ж! Потопал дальше теперь уж младший лейтенант Красной Армии Иван по дорогам России, Белоруссии на запад, вышибать фашистскую несъёмную к чёртовой матери – туда откуда оккупант явился, в его смрадное логово. Не просто потопал, а загрохотали его сапоги, потому что изменился Иван, взяла его природная злость, о которой сам не подозревал, считал, что с родным отцом не был схож.

Ну, а как в Белоруссию вступили, нагляделся он и на сожжённые деревни, пепелища из людей, детей и на повешенных партизан, на голодных измученных стариков, взяла его, даже страшно стало, жуткая ярость, непримиримо горели его глаза и сжимались кулаки, исчезла последняя капля хладнокровия. В разведке всегда из принципа милосердия брал только немца-языка, не позволяя группе лишних жертв. Теперь же после Белоруссии он больше за себя не ручался, не осталось в сознании, что немец тоже солдат, появилась новая формулировка каждый немец – фашист, каратель, враг. Когда после Минска Иван увидел немецкую тысячную колонну пленных, то его охватило великое презрение к ним рослым, поникшим и присмирившим, не до конца испустившим воинский дух, но за свои жизни трусливо подняли руки вверх. – Не забыл Иван колокольню, с которой «эти», мнящие себя матёрыми волками, с издёвкой расстреливали отчаянных смельчаков. – «Да, мы медленно запрягаем, да лихо едем, не скоро научились воевать, не скоро научились ненавидеть вас!»

Его сын Михаил в восьмидесятых годах переехал жить и работать в Вильнюс, поэтому Иван Михайлович часто навещался к нему в гости. Этот город для ветерана был ещё одной вехой в той войне. Помнил – после Минской операции шли к Вильнюсу без отдыха и передислокации, теми же силами подступились к городу, а с противоположной стороны спешили поляки Армия Крайова, решалось – кто первый фашистов вышибет, тот и освободитель города, того и Вильнюс. Ох, крутой замес получился после взятия города – вроде бы с поляками одно дело делали, немцев выбивали, а цель разная. Поляки поспешили вывесить на башне Гедиминаса свой бело-красный флаг, а наши тот польский флаг сняли и свой выставили – алый, цвета пролитой крови, да с караулом, этим всё и обозначили. Полякам очень хотелось вернуть Вильнюс, до тридцать девятого года город им принадлежал, да и горожан поляков насчитывалось больше всех других национальностей, тем более литовцев. Верховная Ставка в Москве решила иначе, поэтому Красная Армия опять в который раз город Вильнюс щедро преподнесла литовцам на блюде с голубой каёмочкой, надеясь на ответную благодарность. А благодарность была! Цветами встречали советских солдат, танкистов и пехоту забрасывали, как девок красных, букетами. Победители шли строем по центру, лейтенант Иван в том строю оттягивал носки пыльных сапог. Девушки вручали воинам цветы прямо в руки, и к нему одна молоденькая с лица евреечка подбежала и так слёзно целовала, он даже смутился. А глазищи у неё, как у теляти, чёрные и огромные, смотрит на Ивана, а у того сердце зашло то ли от жалости, то ли от восторга. На прощанье рукой помахала и добавила: «Век тебя не забуду!» Услаждали

красноармейцев горожане цветами, называли освободителями, спасителями, и красноармейцы после окопов, жарких боёв были на седьмом небе от счастья.

Запах Вильнюсских цветов определил запах близкого конца войны. Впереди ожидалось сражение за Кенигсберг. Прусский город уже был в окружении, когда пришла весть о внезапной гибели генерала Черняховского, командующего операцией подготовки и взятия Кенигсбергского плацдарма. Хоронили очень нужного генерала в Вильнюсе, а в почётном карауле стоял у гроба лейтенант Иван Пухов, испытанный молодой офицер, вся грудь в орденах и медалях, главное, на слухи не падкий, на чужой роток не накинешь платок, а свой он научен держать на замке. Жалел, что генерал до победы не дожил, а она уже хоть близка была, но ещё много потребует жертв, ещё немало людей пожрёт война, немало слёз прольётся у вдов и детей. Скорбное это дело – похороны, а назад не вернёшь ни его, прославленного генерала, ни других сильных, молодых и красивых боевых друзей – товарищей.

Как-то однажды Иван Михайлов попросил Михаила отвезти его в Новую-Вильню – окраинный район Вильнюса. Там не сразу, но разыскал дом, в котором квартировал во время войны, оказалось, найти дом делом несложным, ориентир всё тот же – костёл Святого Казимира, который оставался на месте и мало претерпел изменений, обновления его не коснулись по безбожию советских времён. Иван Михайловича не заботил внешний вид костёла, хорошо хоть цел, а иначе не узнал бы дом, где когда-то в нелёгкие времена своей молодости провёл кусок жизни. Дом состарился за долгие годы, и всё ж не до конца обветшал, как и сам Иван Михайлович. Но хозяина белоруса в том доме уже не было, молодому лейтенанту Ивану в прошедшую войну он казался стариком, теперь Иван Михайлович понимал, что ошибался. Все выглядели тогда старше своих лет, худые с иссохшей кожей да беззубые. Война всех старила прежде времени. Крепко запомнился ему этот хозяин дома Данила Грыгорыч. Ни одного вечера тот не пропустил, чтобы не встретить офицера Красной Армии бутылкой домашней водки с маленькими стопочками, чуть не с напёрсток, ждал, сидя за столом с двумя мензурками, для себя и для Ивана. Сало, хлеб, картошка и соленья на столе – это досыта, а вот выпивка дозирована – по чуть-чуть, по глоточку, по капочке. Дождался он Ивана ради беседы, а офицеру с утра рано вставать, да и усталость на службе давала о себе знать. Изучали пути дороги в Пруссию по картам и записям, потом сверяли воочию разведчики, не редко сам уходил на задание, возвращался от усталости измотанный, хорошо, что у везучего лейтенанта вылазки заканчивались без трагических случайностей, благополучно. За долгие годы войны обучился Иван премудрости – находиться в тылу врага незамеченным, в лесных массивах превращался в следопыта, становясь хитроумным подобно лису. По ветке, по травинке, по солнышку, по птичьим головам, по запахам Иван мог, как по книге, рассказать, что за зверь тут наследил, сам превращаясь в зрение и слух, ощущая себя первобытным человеком, в котором мощно работали природные инстинкты. А вечерами Иван не отказывался посидеть за рюмкой с говорливым белорусом в чистой горнице и в основном слушал, помалу отвечая хозяину дома – слишком много знал, не всё можно было сказать.

Да Иван Михайлович думает: «Не всё и сейчас можно», – на всю жизнь хорошо усвоил поговорку «молчание – золото», кожей помня ощущения – за спиной разведчику почти на ухо дышал и будто через лупу рассматривал каждый его шаг особист. – «Эти люди неизживаемые, от них нет пользы кроме страха, что они знали о верных товарищах, о риске идти впереди передовой? Не доходило до них, что решения в штабах зависели от

нашей зоркости, смелости, а значит, не от них, а от нас зависела Победа. Не положено рассуждать, тем более говорить, а сам с собой – что ж, это не запрещено».

О разном рассуждал хозяин дома в Новой-Вильне, к примеру о земле, об урожае, о починке дома, о судьбе и любви, чтоб дочери вели себя без баловства. Иван соглашался, но виноватым себя не чувствовал, если Агнешка, зрелая девушка, сама к нему по ночам тайком пробиралась и до утра из-под одеяла хоть гони не выгонишь. Нет, он не виноват, если выбор за женщинами, не за ним, ему не положено, поэтому он позволяет им любить себя, только и всего. От тепла и ласки воину лучше спится.

Данила Грыгорыч по обыкновению говорил на отвлечённые темы, не касаясь неудобных вопросов войны и мира, но однажды завёл разговор о высылке соседей по железной дороге в Сибирь. Горячился – мол кляузы, доносы свои же местные на своих пишут по поводу и без повода, а несчастных отправляют в Сибирь, просил помочь семье соседей, с его слов – хорошим людям. Выяснил Иван, назначенные военные не знают литовского языка, поэтому разбирают все дела сами литовцы, определяют кто против власти за немцев стоит, кто живёт в достатке, нажившись на войне. Договориться с ними невозможно, военные не понимают местного языка, литовцы – русского. Ничем Иван не утешил хозяина дома, ходатай из него не получился, ходатайство принять было некому.

Молчал Иван Михайлович о делах минувших дней, молчал и про гибель генерала Черняховского, и про взятие Кенигсберга. А, если что когда и произносил, то дети, слушая, думали – когда это было? И внукам трудно дедулю Ваню, у которого были вставные зубы, представить молодым и бравым. Однако война к Ивану Михайловичу приходила непрошенной гостьей, заставляя переживать ту пору молодых и тревожных лет, особенно после смерти Марьи, когда печалью занялась душа. Однажды провёз он своё разросшееся семейство со стороны Михаила и Милы в город Калининград, бывший Кёнигсберг, подвёл детей и внуков к братской могиле памятнику воинам 1200, и показал им выбитый на граните и позолоченный столбец с его инициалами: старший лейтенант Иван Михайлович Пухов 1918 года рождения. Долго стоял молча, потом сказал: «Похоронили здесь меня тогда, решили наши однополчане – погиб Иван Пухов, а я вот стариком на это смотрю и скорблю по всем победителям, которые не дожили до победы. Страшно вспоминать, не то, что проживать те бои, кругом потери, потери, потери! Меня раненого среди развалин города девчоночка-санитарочка нашла, перевязывать начала, до сих пор в ушах её ласковое щебетанье, а тут новый обстрел, взрывы один за другим... и эта кроха меня собой закрыла. Я сильно оглушен был, а она убита. Сразу-то меня не нашли, найдя не опознали, а потом я сам, когда в госпитале очухался, себя не сразу вспомнил. И похоронили меня в Кенигсберге и наградили за взятие Кенигсберга. Вот здесь на планке обозначена эта медаль. А в братской могиле я ли или другой кто значитесь теперь не узнать, а девчоночка тоже могла быть здесь похоронена, жалко имени, фамилии не знаю. Всем им братский мой поклон».

Победу Иван встретил в Кенигсберге. И любовь долгожданную, пахнущую весной и счастьем встретил там же с мгновения как очнулся, её глаза над марлевой повязкой, будто выстрел из гранатомёта нацеленный в его молодое сердце. Сердце подпрыгнуло и горячая волна радости обдала его тело. Военврач красавица Галя ставшая его любимой женой ответила взаимностью, с ней он и встретил необыкновенный день Победы. От сбывшегося счастья все ходили шальными, стреляли в небо, пили, пели, куражились. Всё ещё в госпитале, будто на гармонии в Клинах, играл Иван день и ночь на немецком аккордеоне, душу рвал, а она у всех воинов на пределе чувств зиждилась, чуть что – как затоскуется из-

раненым и больным солдатам, как заплачется, хмельные мужские слёзы размазывая заскорузлыми пальцами по лицу. Не пряча, не стыдясь. Победа! Выводит Иван на аккордеоне любимый вальс «В лесу прифронтовом», вальсируют раненые-израненные воины с сестричками и медичками, кружатся в упоении, улыбкой слёзы придавив. Страшно вспомнить четыре года бойни, когда вместо влаги псы в крови языки охлаждали, живых теперь меньше, чем убитых и покалеченных. Неужели всё кончилось? Неужели мир?

В Кенигсберге Иван продолжил службу в звании майора, став за время войны кадровым военным, вышколенным с офицерской безупречной выправкой. Таким и отправили его на парад Победы в июне сорок пятого года, где он шёл по Красной площади, чеканя шаг в хромовых с лоском сапогах, гордый и счастливый от сознания, что он снова здесь идёт, на этот раз победителем. Выживший в битвах и походах, не умерший в госпиталях от ран, выстоявший в зной и в стужу под вражеским огнём, шагал Иван по Красной площади и не знал с чем сравнить чувство небывалой гордости от огромной Победы. Обещал Иван спасти Москву, землю русскую, народ свой и ведь спас. Победа! Пусть стекает скупая слеза по скулам, это от счастья и радости!

По возвращении в Кенигсберг после войны по приказу Жукова, чтоб не забывалась наука Родину защищать, непрерывно велись серьёзные ученья в лесах, домой военные возвращались редко, как на побывку. Жили в палатках зимой и летом. Иван жену к себе не вызывал, не помнил её совсем, как не старался ни одной черточки не возникало, ни голоса, ни ласк не мог представить – семь лет прошло в разлуке. У него другая женщина – по сердцу жена, выходила, вылечила, полюбила, а он её. Словно дождался высшей награды, ведь его любимая Галя лучше орденов и медалей. Строил с ней планы, чтобы и дальше вместе навсегда, на всю жизнь, до скончания века. Забыл Иван Марью, не стало места для неё в его жизни.

И снова, хоть что делай – ты себе, а оно себе!

Нежданно, нагадано... говорят, как снег на голову, незваной приехала к Ивану жена Марья с дочерью Милой. Рада радёшенька, что Ваня живой, что нашла его, полстраны проехав шут-те как в товарных вагонах. Все годы ждала верно, всё о нём и только о нём мечтала, только за него Богу молилась, на коленках ползала, чтоб выжил, чтоб цел остался. И вот руку протяни и он тут, её Ваня, но смутилась его холодности, почти враждебности. Он не скрыл, что давно не один, что с другой в любви живёт, что не хочет её видеть, мол, война их разлучила – ничего теперь поделать нельзя. Согласилась Марья уехать, а всё никак в толк взять не могла – как же так? Ждала, о других не помышляла и вот супругу не нужна, совсем не нужна! А с другой стороны, семь лет прошло, какой человек не поменяется, особенно мужчина, жизнь не сказка, она свои законы прописывает. Понятно, что он не святой. Забыла бы обо всём Марья, если б он согласился с ней остаться, если бы не говорил: «Уезжай! Не муж я тебе больше. Не люблю тебя».

И все же судьба была на стороне Марьи, может потому что у неё вовсе не было иного предназначения – как служить любимому человеку, иной дороги – как обустроить ему быт, вычищать и выглаживать военную форму, будто для парада, варить ежедневные обеды, наводить уют, вывязывая салфеточки, покрывала и радоваться его возвращению с учений. А он всякий раз спрашивал: «Ты ещё тут? Не уехала?» – Не уехала, билетов нет, да и страшно обратно, дороги-то все разбиты. Я уеду, Ваня, обязательно уеду, – ставя перед ним тарелку, присаживалась и рассказывала, не спросив, про деревню, про родителей.

– А отец твой ушёл к буфетчице с вокзала, а мать теперь одна с дочками осталась, сёстры твои уж невесты. Тося замуж за Николая собралась, окрутила она его, он-то смиренный, покладистый. Мария на отца сердита, главенствует в доме, Валентина в Москву укатила искать своё счастье. Сераня всё пророчествует, велела тебя разыскать, говорила: «Найди, живой он. Найдёшь – твой будет», а оно вон как! Я уеду, уеду, Ваня. Ты кушай, я старалась. Мясо в супе хоть косточки, но свежие, и картошка не проросшая, и крупу достала по талонам, очередь такая утомительная, всё-то как наша река длинная да тёмная.

Она не объясняла – кто такие Тося, Мария, Сераня – он и так всех знал, то его и её сёстры, брат, отец да мать и слушал Иван Марью с большим интересом, удивляясь самому себе, ощущая что-то тёплое внутри разливалось, родное, и суп по-деревенски был кстати, и чистота, уют в комнате с новыми занавесками шитыми Марьей – всё быстро расположило его к спокойствию, к отдыху. Вгляделся в Марью, и в который раз подумал: «Совсем она отошала, худая и не поправляется», потом произнёс: «Ты-то ела? Смотри у меня, чтобы ела, на себе не сэкономила. Вон дочка Мила видно уже покруглела, а ты всё как жердь. Наливай суп и ешь при мне». – «Я ела, перед твоим приходом пообедала. Ваня, ты не думай обо мне. Лишь бы у тебя всё хорошо было. А я уеду». Но Иван уже её не гнал, она это чувствовала и продолжала хлопотать по дому, хотя он часто не ночевал и неизвестно ей то ли он в лесах, то ли ещё где. Уехать бы, но какая-то сила удерживала её от последнего решающего шага.

В один из вечеров, стало быть, Иван и вправду находился на учёных, к Марье пришла им названная женой Галя. Он её любил, считал, что ей обязан жизнью, но ведь обязанных ей жизнью было неисчислимое количество, а любовь случилась только с Иваном. Стоит столбом Марья, губы сжала – молчит, а мысль бьётся: «Зачем пришла? Уговаривать меня уехать, так и уговаривать не надо. Собрала я уже узел. Только как он Ваня без меня?», – а вслух сказала:

– Уеду я, завтра и уеду. Ошиблась знать моя сестра Сираня. Что уж тут. Будьте счастливы, живите долго, не поминайте меня лихом, – тут слёзы сами прямо из сердца полились ручьём, остановить их Марья не в силах, закрылась руками, всхлипнуть боится. Дочка Мила рядом, на чужую гостью глядит, глаз не отводит, вроде запомнить решила навек. Попросилась гостя присесть:

– Зачем вам уезжать? Иван последнее время меня избегает, я всё поняла, вы ему нужны. Как врач я знаю – у него открытая язва желудка, ему режим и щадящее питание в первую очередь необходимы, а у меня служба, мне бы хотелось здоровьем его заниматься, но некогда, больных полный лазарет и я одна на всех. А вы сможете, я вижу – как у вас хорошо, и ему здесь, думаю, хорошо. Обо мне не думайте, я в Москву уезжаю, предложили повышение: московскую больницу, квартиру – отказаться не смею, обязана подчиниться. И не одна я еду, с его другом Сергеем, того в академию направили в Москву. Так что это я вам желаю счастья, живите долго и не поминайте меня лихом, – со спокойным лицом говорила Галя, только чуть губы покривила.

По приезде из леса метался Иван, желал объяснений, но прочитав записку, оставленную любимой женщиной, затих, бутылку принёс и первый раз напился, затосковал, но ничего уже нельзя вернуть, вышла замуж Галя за друга Сергея и с ним уехала в Москву.

А верная Марья осталась, любовью бабской отогревала воина Ивана, ни в чём ему не перечила, обиды сносила и взрывной характер терпела, как могла – мир в доме ладил, и, конечно, пела, целыми днями пела. Она всем сердцем любила, а любовь от века до века со всеми неурядицами запросто справляется, да и что больше любви? Со временем Иван

перестал куражиться, родился сын в городе с новым названием Черняховск, в честь погибшего генерала, и семья Пуховых на Прусской земле окончательно состоялась.

О любви с женой Иван не толковал, ласк не расточал, бывал суров и молчалив, но ответственность за детей и быт с себя не снимал, а потом привычка взяла верх. Марья стремилась за ним и рядом с ним везде и всюду с любовью, а он, что ж, он позволял любить себя и на том спасибо. Позволял блестящий офицер Иван любить себя и другим женщинам с условием, что его дом от притязаний и романов закрыт. Марья только догадываться могла о мужниной неверности, а доказательств не доставало, улики вовсе не было. Недаром Иван испытанный разведчик.

Закончив военную службу, он с семьёй переехал в Белоруссию, там он работал и жил до конца своих дней. Вернее жили-были, жили-были Иван да Марья. Но их история двух отдельно звучащих нот сведённых вместе на этом не закончилась. Совместный их аккорд прозвучал в трудных испытаниях судьбы, когда на ту – на которую Иван не думал и свысока смотрел, не слишком замечая в будни, оказалась вернее верных, надёжнее надёжных. Случилась беда – к пятидесяти годам у Ивана язва перешла в рак желудка, и врачи долго и подробно объясняли Марье, что, несмотря на операцию, на рентгеновских снимках видно, что проживёт её муж не более двух месяцев, а на большее гарантии нет. В который раз в середине жизни смерть уставилась провальными глазницами на седеющего солдата, дожидаясь своего часа. Теперь уж он точно никуда от неё не денется...

И кто бы мог подумать, что Марья, его недолюбленная жена, бабской немислимой любовью спасёт Ивана там, где ни один врач сделать ничего не мог. Послушав Дору, жену Ефима Хейфица сослуживца Ивана, который рядом в палате лежал с тем же диагнозом:

– Есть у меня адрес в Сочи, там находится экспериментальная лаборатория, у них разработан препарат от рака, мне известно – есть результаты. Я из тех больных одного знаю – выжил, и по сей день здравствует, – Марья загорелась:

– Поехали, Дора! Поехали, достанем препарат и спасём, спасём своих мужиков.

– Нет, Маша, я не поеду, я здесь ему нужна. Буду рядом до конца. Да и незаконно всё это, опасно и дорого. Никаких денег не хватит.

– Дай мне адрес, Дора! Ваня не может умереть, не должен, я не хочу, чтобы он умирал, не хочу! Я тебя умоляю дай мне тот адрес, я поеду, я достану лекарство, во что бы то ни стало, достану! – И действительно достала. И в Сочи полуграмотная женщина слетала, и лабораторию нашла, связь наладила, денег не пожалела и привезла чудо-препарат для Ивана. Привезти, привезла, а лечащий доктор в городе наотрез отказался эти уколы делать. Опять Марья умоляет: «Доктор миленький, он всё одно умирает, выписали со словами «двух месяцев не протянет», а я хочу ему помочь. Спасите! Назначьте ему эти уколы, я расписку дам, что вы ни при чём. Денег сколько скажите, столько заплачу. Дачу продам, хотите нашу дачу?» И упростила доктора, стали колоть Ивану уколы с неизвестным никому содержанием. Через два месяца вместе муж Иван и жена Марья вернулись в Минский институт онкологии. Опять врачи развесили рентгеновские снимки, и учёный онколог только руками плескал и языком цокал:

– Бог вам помог! Чистые органы, вот было – вот стало! Невероятно! Поздравляю, не ожидал, не ожидал. Чудо, произошло чудо! – отвернулся к окну, на солнце глянув, произнёс – что ж, бывает и чудо.

Похудевший, постаревший, но живой Иван с той поры не расставался с Марьей, став мужем каких ещё по свету поискать. Их всегда и всюду видели вместе, преданный и за-

ботливый он благодарил судьбу за то, что нашёл с ней своё счастье. Никто ему больше был не нужен, ни умницы, ни писанные красавицы, всех затмила жена Марья.

Иван Михайлович давно забыл о своём когда-то приговоре, не чаял быть долгожителем, скоро уже будет четыре года как пережил он свою единственную жену Марью, без которой к самостоятельной жизни не приспособился. Стал как есть квартирантом у дочери Милы, горемычным от тоски по Марье, по своей прежней деятельной жизни. Иногда доставал он из шкафа баян, давно подаренный Марьей, играл для себя песни своей военной молодости и, конечно, вальс «В лесу прифронтовом» – золотой осени сон, вздыхая, что большая часть жизни прошла как тот осенний сон. Исполнилось ветерану семьдесят лет и родные окончательно зачислили его в старики. Ох, не знали они своего присмирившего отца и деда, думали – доживает он свой век, а он ещё очень даже напоследок взбрыкнул, и мало никому не показалось. Кому старик, а самому-то ещё очень много чего хочется. Взять хотя бы из еды: того нельзя, сего нельзя, а что можно, глаза бы не глядели! Собралась как-то мужская половина семьи в пивной бар, и он за ними поспешает, страшно отстать – быстроходный он так и не научился управляться с костылём, тот за его ногами не попевал, а пиво-то нельзя, жить-то больше пива хочется! Даже труды и те закончил ворочать, а вот любовь последняя всё ж случилась, и перед ней любой старый человек совершенно беззащитен, Иван Михайлович не исключение, разум хоть и не детский, а всё же туда клонится, необычайно доверчив. Да и скучно влачить жизнь пока живой, поэтому бывший воин, бывший офицер просто не мог не выстрелить напоследок.

Иван Михайлович чуть ли не каждый день Марьину могилу обихаживал, тщательно присматривая за ней, сорняки убирал, тряпочкой гранит обтирал, и птицы слышали – нет конца края его вздохам. Без жены остался – ох, без неё тяжело, печалась, приносил разные цветы с дачи, в жизни-то мало жену цветами одаривал. Не только птицы слушали его вздохи, недалеко к мужу на могилу дама тоже часто приходила – слёзы лить. Дама эта, высокая и полная, по габаритам в Марью, приглядела одинокого Ивана Михайловича, статного и опрятного старика и невзначай с ним познакомилась. Отставной военный Иван Михайлович всю свою жизнь с машиной, то у него был «запорожец», то «москвич», а теперь вот на «жигули» пересел, уверенный, что для него, как умелого водителя, возраст не предел. Иван Михайлович из уважения к даме подвёз её раз да другой на машине, а потом уж она, как положено, дожидалась его и рядом усаживалась, ведь ей по пути, а машине не тяжело. Скоро у них повелось, встречи по телефону назначали, сначала по делу – на кладбище съездить, а потом и просто так, для прогулок и бесед. Ему семьдесят, а ей нет и пятидесяти. Заводная оказалась женщина – у неё для Ивана Михайловича находились приглашения то в одни гости, то в другие, то на свадьбу, а то можно и в кино. Везде вела его под руку, а он и рад. Куда тоска делась, куда надоевшая старость, палку вон зашвырнул, гоголем летал, из синих глаз искры сверкали. Больше года продолжалась любовная канитель – вопрос о женитьбе назрел, а куда он приведёт свою молодуху? Квартиру, будто король Лир отдал, переписал на свою внучку, зять в болезни подсуетился. – «Глупец я, глупец! Зря отдал, сейчас бы женился и потекла бы моя жизнь с красавицей полная счастья и довольства», – так думал с досадой семидесятилетний Иван Михайлович, а к невесте на квартиру идти не решался, тянул время, не предлагая своей пассии достойного варианта. Да и неловко перед родными, не живётся ему по-стариковски, гусарский дух разыграл – и смех и грех! А дочь в истерике, сердится на отца, на весь город опозорил, мало нашёл зазнобу моложе её, так доброжелатели доносят: «Разгульная бабёнка, одна такая разбитная

на весь город. В кинотеатр с вашим отцом под руку пришла да всё-то напоказ, сама толстуха, а туда же – по фигуре обтянулась люриксом, вся переливается на свету, хохочет в голос. А он рядом гнётся, угождает ей».

Переживают дочь с зятем – сплетничают люди, насмеваются, пальцем тычут – городок-то маленький, все друг друга знают. А Иван Михайлович в ус не дует, разгулялся всеерьёз, денежки проматывает, которые за жизнь накопил от жены, от детей, веселится его душа, веселится и его зазноба. Снова старый гусар решает – с этой женщиной без разлуки навек вместе!

Михаил с Мартой, живя в Вильнюсе, не знали горестных для Людмилы забот, они иначе, чем сестра, отнеслись к отцовскому роману, пусть отец на которой женщине желает, на той и женится. Видели они – отец на глазах ожил, перестал быть стариком, дедом, стал молодцом озорным и весёлым. Михаил по телефону пригласил отца к себе в гости в Вильнюс вместе с дамой сердца, чтобы основательно познакомиться, в ответ у отца голос довольный, бодрый:

– Добре! Ждите – завтра приедем, вот тут она, рядышком со мной сидит Раиса, согласилась стать моей женой и к вам приехать. К обеду будем. У неё как раз день рождение, все события вместе отметим.

Готовилась Марта к смотринам, обед праздничный приготовила, шоколадный торт купила Пяргале, свои пирожки напекла. Однако в назначенный день «молодые» не приехали. Лишь спустя три дня приехал лишь один отец Иван, и не узнать его родным настолько он отвратительно выглядел, будто смертельно больной. Вышел из машины с серым лицом, обмякший душой и телом, а причина одна – наповал сражён не кинжалом, а женским коварством, которого ему не принять и не понять. Марта утешала и жалела его. Он же синюшными губами рассказывал о своём сокрушённом сердце и разрушенных надеждах, однако ни разу не назвал ту женщину бранным словом.

– Отказала Рая мне. Пришёл к ней рано утром, машину до блеска начистил и намыл – время пришло ехать к вам, а у неё в прихожей чужие здоровущие мужские ботинки. Накануне вечером договорились о женитьбе, о поездке, мило распрощались, а утром я глазам своим не поверил – у неё мужчина в кровати. Подумал, может сын приехал. Уселись для разговора на кухне, она мне и скажи: – «Ты, Ваня уже старый, а этот мужчина мне как раз по годам, давно за мной ходит, да я всё отнекивалась, а тут решила. Подумала – какое у меня будущее с тобой? Ты от болезней сляжешь, а я должна буду за тобой ухаживать, на лекарства работать. А с молодым мужем у меня впереди полноценная жизнь. Ты уж прости меня, если можешь». – Я ей сказал, что этот господин не станет её любить так как я, и уважение какое я ей оказывал, не окажет. Но она слушать не хотела, мол, всё решено и прими без возражений. Я чуть там и не умер. Плохо мне, ужасно плохо мне, раздавила она меня. А зачем? За что?

Михаил и Марта оставили отца у себя, оберегали, утешали, но он будто высохший куст ничему не радовался, даже внуков не замечал. Через неделю отец Иван уехал, даром ему жестокий удар не прошёл, начались сердечные приступы, и дочь Мила без конца вызывая скорую, еле-еле его выходила.

Говорят, Бог жилу метит, несчастье настигло и не отпустило его зазнобу Раису: пятидесятилетний муж слёг с обширным инфарктом, перестал работать, занялся торговлей на рынке, где в окружении товаров баловался водочкой и закусывал молодильными яблоками. Жену на ревнивые замечания грубо оскорблял, а та не уступала, требуя супружеско-

го долга и верности, оттого скандалы в их гнёздышке стали обычным делом. Однажды, не выдержав, позвонила она Ивану Михайловичу:

– Прости меня, Ваня, прости! Бог меня за тебя наказал, так жестоко наказал. Прямо посмеялся надо мной, лишил покоя, здоровья и счастья.

– Бог наказал, Бог и простит, – отвечал ей окрепший духом воин Иван, – а я зла не держу, на тот момент ты правильно рассудила. Я действительно старый человек, но за меня не волнуйся, у меня всё хорошо.

– Можно мне тебе звонить? Хоть поговорить с тобой. Душу отвести...

– Душу? Не надо. Ни к чему. Не звони, я этого не хочу. Всё прошло и ладно. Не тревожь больше меня.

На том и распрощались.

Он выжил. Однако начался новый этап в жизни старого человека с заглавием – безнадежное одиночество. В семье он оставался старшим, главным, уважаемым отцом и дедом, но без главенства, с ним стали забывать посоветоваться, поделиться новостями, просто поговорить. Оставались знакомые, в основном женщины, с которыми беседы по телефону скрашивали досуг, но не более того. Больше он никому себя не доверял, сам о чувствах не помышлял и к себе приближаться даже с симпатией не позволял, на долгие годы оставаясь бобылём.

Был Иван Михайлович молодым на дорогах войны, зрелым на гражданке и не боялся смерти, не думал о ней – просто жил, а в последние лет пять стал панически бояться умереть. Страх обязательного ухода с лица земли усиливался в часы одиночества и бесполезного досуга. В церкви, купив две иконы Спасителя и Николая чудотворца и закрыв их от посторонних глаз дверцей шкафа, он в тишине затевал молчаливую беседу то ли с ними, то ли самим с собой, заканчивая одним и тем же вопросом: «Куда я дальше?». Вздыхал – всё-то из детства, не выбросишь из памяти материнских, бабкиных поклонов Богу, тихого Марьиного отца, потрясающего иконостаса Переславля Залесского кремля расписанный по-видимому его предком – Пуховым, все что-то знающие больше его партийных убеждений. По примеру деревенской родни, перекрещивая с трудом лоб, становился Иван Михайлович щедрым на потоки слёз – слишком быстро прошла жизнь, слишком трагичной виделась ему неминуемая смерть. А она пришла, дав «на посошок» выпить капочку коньяку на последней трапезе жизни за столом у дочери, нокаутировала его в один миг, заливая кровью мозг, повалила на диван и ни на секунду не дала опомниться. Дальше он даже не понял, что умирает. Беспощадная пощадила старого солдата, долго подкарауливая, и всё же напоследок обошлась с ним милостиво.

Ждали для отпевания из церкви батюшку. Последние прощания перед кладбищем, последние мотивы плакальщиц, слёзы детей, внуков и воздыхания близких рода Ивана Михайловича. Среди прочих к гробу подошла проститься дородная женщина в тёмном платке, то Раиса, поблекшая от недоброй семейной жизни, боком неловко подвинулась ближе к покойнику, подав голос: «Ваня, Ванечка, Ваня... прости», пустила слезу и, положив багровые розы ему в ноги, пошла с поникшей головой на выход.

Дочь Мила недобро зашептала:

– Надо же пришла, не постыдилась. И ведь не выгонишь, и дверь перед носом не закроешь.

А Марта, невестка Ивана Михайловича, ей:

– Пусть попросается, он ведь эту женщину любил. И она, похоже, тоже. Мало ли что не вышло.

– Марта, даже не говори мне о любви, пройдоха она, и не первого старика так-то обобра-ла, работает в собесе и про всех старых людей знает у кого какое положение, этим пользуется. Сберкнижку отец с ней всю прокутил, копил, копил и прогулял.

Марта самой себе на удивление подумала: «И правильно сделал. Его деньги, захотел – прогулял, захотел – раздал. Разве в деньгах дело? Эх, хотелось бы нам последнего – примерной старости, а он выбрал первое, имел право. Захотел стать чуть более счастли-вым. Жаль, женщина дурная попалась. А ведь были другие желающие на её место из по-рядочных, умных с предложением тихой заводи да ему не надо. Бури захотелось, звать страсти в старом вояке ещё не отбушевали, требовали выхода, пусть самого неожиданного для нас».

Похоронили Ивана Михайловича в морозный день начала декабря по старинному христианскому обряду, так красиво хоронили его предков в далёком Переславле Залес-ском под звон кадила, под запах ладана и слова священников: «Вечная память! Вечная память!» Тело с поверхности земли – праху, а душа воина Ивана и просто хорошего чело-века – Богу, так было на русской земле с испокон веков и вновь повторилось. Плачьте и молитесь за него родные, холм с цветами окончательно исключил встречу в завтрашнем дне.

Е.А. Гусева-Рыбникова